



В. БОЙКОВ

П. Я. Чаадаев

Уже стало своеобразной традицией рассматривать миросозерцание П. Я. Чаадаева (1794—1856) в качестве одного из главнейших истоков национального самосознания России начала XIX века. Естественно допустить, что размышления о России занимают в философии Чаадаева центральное место. Однако это предположение не так безусловно, как может показаться на первый взгляд.

Мысль Чаадаева фундаментальна, вся устремлена к первоосновам: ни одно частное явление истории, даже если это и родное отечество, не становится чем-то исключительным и абсолютно поглощающим внимание философа. Философия Чаадаева лишь постольку «философия России», поскольку она есть философия всемирной истории.

Россия не является сокровенным предметом его философствования, но выступает злободневным поводом и отправной точкой. В загадке всеобщей судьбы человечества разгадка особенного пути России, ибо для Чаадаева «окончательное просветление должно вытечь из общего смысла истории».

Начала человеческой истории и Божественный промысел — вот главный предмет Чаадаева. Библейско-христианский универсализм делает философа чрезвычайно чутким ко всей ойкумене мирового духа, где России вовсе не отводится роль метрополии. Правда, сразу нужно заметить, что о старых религиозных истинах «басманый философ» пытается говорить «языком века, а не устаревшим языком догмата». Но модернизм терминологии лишь оболочка архаизма идей. Бог внедряется в хаос Вселенной и ведет человечество к торжеству вечного порядка Царства Божьего на земле. Однако восхождение к горним замыслам истории Чаадаев начинает с оценки роли и места России во всемирной культуре. И вдохновляет его здесь «нечто более пре-

красное», чем любовь к отечеству, — любовь к истине: «Не чрез родину, а чрез истину ведет путь на небо».

Хотя Чаадаев озабочен поиском объективных законов развития общества, его суждения о России — не продукт анализа данных явлений, но результат душевно-разумного видения, основанного на нравственном впечатлении от современной ему действительности и перенесенного на всю совокупность фактов прошлого. В этих оценках есть боль и скрытое отчаяние; но нет и тени академического исследования, да и вообще нет «научной» доказательности, как бы мы ее ни понимали.

Настолько ли безумно было обвинение Чаадаева в «сумасшествии», как это представляется всепонимающим потомкам? Посмотрим, что же непосредственно открылось читателям «Философских писем». Прежде всего, какова основная точка зрения Чаадаева на «христианский мир» и на роль в нем России; какова общая перспектива человечества, которую он изображает?

Взгляд Чаадаева не терпит никакой слепоты, а «национальный предрассудок является худшим видом ее, так как он всего более разъединяет людей». Для русского философа эта проницательная универсальность есть свойство христианского сознания. Все свои надежды, все утешения и «сладкую веру в будущее счастье человечества» он связывает с христианской идеей. Для Чаадаева христианская религия имеет безусловно божественное происхождение, объективно проникая в души, овладевая умами, подчиняя сознание и пробуждая чувства. Пророчеству Христа философ сообщает характер «осознательной истины». Воздействие христианской идеи у Чаадаева поистине тотально: она охватывает общество в целом, претворяя интересы людей в свои собственные, превращая всю жизнь народов в одно великое движение, которое «сообщил миру сам Бог».

Именно эта картина единого человечества, ведомого Богом к Царству Божьему на земле, и служит для русского философа убежищем, когда, «удрученный жалкой действительностью», он чувствует «потребность подышать более чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо».

Историософия Чаадаева религиозна и христианоцентрична, а христианство в ней является провиденциальной силой истории. Но русского мыслителя в христианстве интересует преимущественно различный характер его влияния на развитие общества и культуры. Богословие истории и метафизика у Чаадаева разработаны недостаточно, они почти полностью заменяются интуитивно-религиозным «историзмом». Поскольку соци-

альная ориентация философа определена религиозной идеей, поскольку неопределенность религиозной идеи обуславливает неопределенность общественного идеала, который понимается как «социальная система или церковь» и отождествляется с Царствием Божиим на земле.

Решающий аргумент Чаадаева — аргумент «от истории»: она — «ключ к пониманию народов». Но что такое «история»? Что такое «народы»? И что такое это «понимание»? По Чаадаеву, история есть прямая передача истины в непрерывном ряду поколений посредством взаимодействия сознаний, или всемирный процесс воспитания рода человеческого. Народы — «в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности». Для правильного понимания народов «следует изучать общий дух, составляющий их жизненное начало». Во всем этом легко обнаруживаются признаки романтической историософии. Несомненно, философия истории Чаадаева движется в русле европейского романтизма. И вот с таких теоретических позиций «басманный философ» определяет место и оценивает роль России в «христианском мире».

В изображении Чаадаева «своеобразная цивилизация» России идет вне магистрального пути народов и асинхронно с ними. Более того, Россия находится вообще вне осевого времени, вне рода человеческого, вне культурного пространства. Она не принадлежит ни к Западу, ни к Востоку, ей нет места в топике культуры. Россия Чаадаева не утопична, но атопична. Атопия и ахрония — «печальные черты» этого «нулевого» исторического типа. Здесь мы имеем дело с совершенно уникальным случаем национального самосознания, которое не разворачивается в утопию или антиутопию, но сворачивается в атопию. К этим характеристикам у Чаадаева добавляется бытовой аморфизм — отсутствие условий, составляющих в других странах «необходимую рамку жизни». Иначе говоря, речь идет «просто о благоустроенной жизни», об упорядочении привычек и привычках упорядочения. Н. Бердяев писал о Чаадаеве: «У него была тоска по форме, он восстал против русской неоформленности».

Культурный атопизм выражается еще в одной черте «русского типа», которую отмечает Чаадаев, — в отсутствии устойчивости, прочности, привязанности, в бездомности. Так, «эмпирическая действительность» России роковым образом лишена самих «основ общежития» и уже на фундаментальном уровне быта проваливается в бездну небытия.

Социальная жизнь России, по Чаадаеву, также имеет лишь крайне отрицательные достоинства. У России нет творческой,

героической юности, эпохи, в которую способности народов «развиваются всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста».

Единственный путь вхождения России в семью «цивилизованных народов» Чаадаев видит в том, чтобы «некоторым образом повторить у себя все воспитание человеческого рода». Что это значит? Прежде всего необходимо уяснить свое место «в общем строе» и узнать, что представляет собой дело воспитания.

Чаадаев предельно заостряет мотив внекультурности и исторической лишенности России. Русские пришли в мир подобно незаконным детям, без наследства, без связей с предшествующими народами. Все в России основано на заимствовании и подражании, нет ничего самостоятельного. «Мы растем, но не созреваем, движемся вперед, но по кривой линии, т. е. по такой, которая не ведет к цели».

У Чаадаева Россия предстает глубоко отчужденной от мировой культуры и от самой себя в этой культуре. Но в чем смысл существования нации, вынесенной «за скобки» истории и исключенной из состава человечества? Чаадаев отвечает на скровенный вопрос о смысле существования России весьма туманным намеком: предназначение наше в том, чтобы «дать миру какой-нибудь важный урок». Видимо, Россия должна когда-нибудь превратиться из заброшенного и безнадежно отставшего ученика в наставника народов. Но это — в каком-то неопределенном будущем. В настоящем — «беспечность жизни, лишенной опыта и предвидения», полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи, к бесполезности и бездарности пребывания вне общего закона человечества. Россия Чаадаева в прошлом и настоящем — серая, безликая, огромная страна, раскинувшаяся в географическом пространстве от Берингова пролива до Одера, составляющая «пробел в нравственном миропорядке» и кровно враждебная «всякому истинному прогрессу».

Завершить эту мрачную и уничтожающую характеристику вполне могло бы такое признание:

Как сладостно отчизну ненавидеть!
И жадно ждать ее уничтоженья...

Эти строки принадлежат Владимиру Печерину. Не случайно Н. Бердяев поставит его рядом с Чаадаевым. За словами Печерина Н. Бердяев видит только русского, и притом русского, который, «конечно, страстно любит свою родину».

Но вернемся к чаадаевскому образу России. Взятый сам по себе, вне социокультурного контекста, он производит впечатление какой-то национал-фантасмагории, порожденной помраченным сознанием. Романтический национализм здесь окрашивается глубоким пессимизмом, наполняясь негативистским и даже нигилистическим содержанием. Судьба России у Чаадаева не трагична, не драматична, но просто ничтожна. Здесь та же романтическая идеализация своего народа, своей истории, что и у славянофилов, но только со знаком минус. Разочарование Чаадаева в современной ему российской действительности, невозможность социально значимой самореализации выражаются в гиперкритическом отношении ко всей русской истории. Скрытая полемическая заостренность делает критику открыто тенденциозной. В подходе к истории России у Чаадаева над интеллектуально-аналитическим всюду преобладает эмоционально-оценочный элемент. Отчуждая Россию от себя, философ сам отчуждается от России. В его России жить нельзя, можно только умирать или покинуть ее. Русский философ, чужой среди своих, ищет свое среди чужих.

Как объясняет Чаадаев столь печальную судьбу России? Причину «необычайной пустоты и обособленности нашего социального существования» философ видит отчасти в самом «неисповедимом роке». У Чаадаева русский народ не народ богоизбранный, богоносный, но народ богооставленный, исключенный из общего хода истории самим Пророком. Однако пророчество русского мыслителя имеет этический характер, а в том, что совершается в нравственном мире, «виноват отчасти и сам человек». В чем же виновата Россия?

Согласно Чаадаеву, в том, что в борьбе варварства северных народов с «высокой мыслью христианства» она обратилась к «жалкой, глубоко презираемой этими народами» Византии. Религиозное отделение Византии от Запада предопределило замкнутость и обособленность России. Византийские истоки русской культуры обусловили ее отчуждение от Европы. Но именно Европа у Чаадаева оказывается хранителем и носителем «животворного принципа единства». Этот принцип для философа неотторжим от христианства и является христианским по преимуществу. Западное христианство Чаадаев отождествляет с самой идеей, принципом христианства, следовательно, отдает предпочтение римско-католической церкви. Таким образом, превосходство западноевропейской цивилизации над русской основано на превосходстве католицизма над православием вообще и над русским православием в особенности. Мотив этого предпочтения

ния коренится, во-первых, в чаадаевском понимании сущности и роли христианства, во-вторых, в том влиянии, которое оказали на философа апологеты католической церкви. Есть еще одно обстоятельство. Отрицательное отношение Чаадаева к Византии и его слабое знакомство с православием объясняются тем, что он, подобно многим аристократам того времени, был отдан от русской церкви и от клира.

Чаадаев утверждает: «Совершенно не понимает христианства тот, кто не видит, что в нем есть чисто историческая сторона, которая является одним из самых существенных элементов догмата и которая заключает в себе, можно сказать, всю философию христианства...» Речь идет о христианстве как социальной силе, действующей объективно и универсально. По Чаадаеву, церковь выступает учредительницей и устроительницей совершенного строя на земле, или Царствия Божия. Для русского философа «церковь», «совершенный строй» и «Царство Божие» — тождественные понятия. Христианство и церковь не выполняют своей задачи, если не преобразуют общество и не способствуют установлению совершенного строя. По Чаадаеву, превосходство католической церкви над православной доказывается степенью их цивилизующего влияния. Религия создает особый круг идей, особую нравственную сферу, в которой идея, открытая людям Богом, должна «созреть и достигнуть всей своей полноты». Эта нравственная сфера определяет строй жизни и мировоззрение народа. Для Чаадаева Европа является тем историческим местом, где христианство сформировало бытовой уклад и социальную почву, наиболее благоприятные для достижения цели, поставленной всему человечеству. Максимальный успех христианского, а значит, и общечеловеческого дела на Западе русский мыслитель объясняет особенностями именно католической церкви. Ей принадлежит заслуга создания европейской цивилизации, в которой «в одной человеческий род может исполнить свое конечное предназначение». Чаадаев признает и незападное христианство, допускает и неевропейскую цивилизацию. «Но неужто вы думаете, что тот порядок вещей... который является конечным предназначением человечества, может быть осуществлен абиссинским христианством и японской культурой?» Такого рода европохристианоцентризм обусловлен тем, что для Чаадаева религия и культура органично связаны между собой, а их общий организм питает божественная истина, наиболее полно открытая в христианстве. Достоинство религии познается по плодам ее. Плод религии — культура. У русского философа высокий уровень цивилизации

Европы свидетельствует о силе ее религии; христианское же содержание религии — о всечеловеческом значении ее цивилизации.

Чаадаев утверждает определяющую роль религии в истории, отождествляет общечеловеческое и христианское, христианское и социальное и о степени совершенства религиозного заключает по степени совершенства социального. Поэтому, говоря словами Н. Бердяева, он был «потрясен и пленен универсализмом католичества и его активной ролью в истории», в отличие от православия, которое «представлялось ему слишком пассивным и не историчным».

Не ко всем западным церквам русский мыслитель имел явные симпатии. Протестантство притягивало его мало. В какой-то мере здесь сказалось влияние католических апологетов, и прежде всего либерально-религиозного романтизма Ламенне. Увлечение католичеством во времена Чаадаева не было исключительным явлением. С европейским романтизмом в Россию проникла тенденция усматривать в католической церкви несокрушимую крепость традиционной западной культуры, основы которой были подорваны рационалистической критикой и революцией во Франции. Эта интеллектуальная склонность во многом сформировала у Чаадаева идеал церкви и породила недооценку исторической роли Возрождения, Реформации и Проповеди в развитии европейской цивилизации, на которую русский мыслитель, по верному замечанию Р. Макнелли, смотрит сквозь «розовые очки романтического средневековья».

Чаадаевское отношение к католической церкви прямо противоположно славянофильскому. То, что для Чаадаева является достоинством католицизма, для славянофилов имеет отрицательную ценность. Соответственно противоположны и оценки православия. По мнению Чаадаева, католическая церковь создала оптимальные условия для вызревания «социальной идеи» христианства в силу своей мирской заинтересованности. Русское православие не оказалось такого влияния на жизнь общества. Русская церковь замкнулась в себе, хотя и сохранила ретроградную чистоту византийской догмы. Но для славянофилов это как раз и подтверждает их убеждение в извращенном характере католической церкви, которая превратилась из органа любви и свободы в институт власти и принуждения. Следует заметить, что разногласия Чаадаева и славянофилов в оценке католичества и православия больше указывают на общую основу их понимания истории, чем на принципиальную альтернативность их подходов. «Католическое западничество» Чаадаев

ва по существу ближе к славянофильству относительно политического западничества, например, Белинского или Грановского. Для Чаадаева материальные и социальные достижения Запада есть побочный продукт религиозного движения. «Все политические революции были там, в сущности, духовными революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние». Европа нашего философа не имеет иной истории, кроме религиозной. У Чаадаева и у славянофилов религиозный интерес мотивирует интерес социальный, а в основании учения об обществе лежит единое учение о церкви. Другое дело, что учение о церкви Чаадаева тесно вплетено в историософию и не развернуто богословски. Славянофилы продвинулись на этом пути дальше: в лице А. С. Хомякова они попытались дать чисто богословское обоснование своим культурсоциологическим оценкам католической и православной церкви.

Вообще, нужно согласиться с Н. Бердяевым: «Западничество Чаадаева, его католические симпатии остаются характерно русским явлением». Здесь, как и во многом другом, «басманный философ» предвосхищает Вл. Соловьева.

«Католическое западничество» Чаадаева в целом — это не апология европейской цивилизации и католической церкви, а косвенная критика русского православия и российского национализма. Причину несоответствия и несообразности русской культуры христианской идеи философ видит в «слабости нашей веры или несовершенстве наших догматов», которые держали Россию в стороне от общего движения, где развивалась и формулировалась эта идея.

Плоды цивилизации Европы свидетельствуют у Чаадаева о мощности религиозного корня и жизненности духовных соков, питающих ее. С другой стороны, «немощность религии и безжизненность веры» объясняют культурную бесплодность России. По мнению философа, хотя мы и называемся христианами, «плод христианства для нас не созревал». Чтобы воспользоваться всеми социальными достижениями христианства, «нам следует прежде всего оживить свою веру всеми возможными способами и дать себе истинно христианский импульс, так как на Западе все создано христианством». Именно это подразумевает Чаадаев, когда говорит, что «мы должны от начала повторить на себе все воспитание человеческого рода».

Дальнейшую судьбу России русский мыслитель связывает не с политическими преобразованиями и революциями, а с культурной активизацией православной церкви. Было бы неверно считать, что Чаадаев хотел обратить Россию в католичество.

Нет, его замысел — пробудить те общехристианские начала, которые являются душой социального тела любого из европейских народов. Чаадаев более «реформатор православия», чем «католический революционер». Точнее говоря, он пророк идеи сближения России с Европой на почве универсальной идеи христианства.

В Россию нельзя пересадить европейскую цивилизацию с ее государственными учреждениями, идеологией и технологией; Россия ничего не может заимствовать прямо у Запада. Она не может механически повторить основные этапы развития цивилизации Запада или сразу воспринять его результаты. С точки зрения Чаадаева, никакая вестернизация России невозможна; предполагается, что нужно изменить саму нравственную сферу, сам этос России.

Мы обозначили исходные принципы и общее воззрение Чаадаева на историю России. Однако он не останавливается на этом, не замуровывает себя в принципах. Он ищет положительный смысл отрицательных особенностей, достоинство недостатков русской культуры и находит в ее отсталости от западноевропейских народов преимущество. Тем самым Чаадаев открывает в «национальной идее» оптимистическую перспективу и даже прокладывает путь к мессианизму. Из старых посылок он делает новые выводы: «Нам назначено бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое; выйти из лжи и утвердиться в истине. Тогда мы пойдем вперед и пойдем скорее других, потому что пришли позднее их, потому что мы имеем весь их опыт и весь труд веков, предшествовавших нам». Россия призвана стать «умственным средоточием Европы», как она уже сейчас является ее политическим.

По словам Н. Бердяева, «оказалось возможным перевернуть чаадаевский тезис о потенциальном состоянии, неактуализированности сил русского народа в истории. Глубокое разочарование в прошлом и настоящем русской культуры философ восполняет надеждой на ее будущее. Прошлое уже от нас не зависит, но будущее нам подвластно. За Россией остается право свободного выбора судьбы. В противоположность ретроспективной утопии и в отличие от своей актуальной атопии Чаадаев здесь тяготеет к утопии перспективной. Такая устремленность в будущее стала вообще характерной для русских мыслителей после Чаадаева.

Философ прочно зафиксировал в национальном самосознании факт экономической, социальной, политической и культурной отсталости России. И этот факт различными направлениями русской общественной мысли истолковывался по-разному. В

принципе, возможны два подхода: отсталость как временное препятствие, которое нужно просто преодолеть; отсталость как залог будущего величия. В первом случае Россия идет по тому же пути, что и Запад, но лишь с некоторой задержкой. Россия должна пройти основные этапы исторического развития Запада. Во втором случае путь русской культуры уникален, она имеет особое предназначение. Чаадаев стоит у истоков второго направления, преимущества отсталости он обосновывает возможностью избежать ошибок других народов отсутствием косых традиций прошлого.

Исключительное положение России сильнее подчеркивается тем, что Чаадаев уже сравнивает ее не только с Западом, но и с Востоком. Жизнь восточных народов замкнута, завершена; русская культура свободно открыта новым мыслям. Однако философ достаточно осторожен, чтобы провозглашать Россию каким-то «третьим миром»: «Говорят про Россию, что она не принадлежит ни к Европе, ни к Азии, что это особый мир. Пусть будет так. Но надо еще доказать, что человечество, помимо двух своих сторон, определяемых словами “запад” и “восток”, обладает еще третьей стороной».

Наконец, даже такая черта русского народа, как покорность и слабость общественной воли, объявляется Чаадаевым «высокой мудростью». Сразу нужно заметить, что это столь «славянофильское» утверждение должно быть воспринято в широком контексте постоянной чаадаевской критики русского рабства. Для философа рабство в России — явление роковое, коренящееся в самом этосе народа. Русского человека в рабство обратило «не насилие завоевателя, а естественный ход вещей, раскрывающийся в глубине внутренней жизни, его религиозных чувств, его характера». В России влияние рабства неизмеримо шире, чем в древности или в Соединенных Штатах Америки, ибо оно охватывает все слои общества, проникает в душу каждого и все разворачивает.

По мере погружения Чаадаева в русскую историю и уточнения своих идей все более определенно и величественно вырисовывается образ православной церкви. Теперь философ признает особый путь православия, отличный от пути католичества. Церковь восточная должна была «явить силу христианства, представленного единственно своими силами; она в совершенстве выполняла это высокое призвание». Ее культурная единственность, аскетизм и созерцательность предохраняли от честолюбия и довели покорность до крайности. Но, по мнению Чаадаева, иной эта церковь и быть не могла, так как «она изменила бы

своему призванию, если бы попыталась облечься в иную одежду». Провиденциальный смысл России, ее всемирный урок русский мыслитель существенно связывает с особенностями православия: «Как бы то ни было, этой церкви, столь смиренной, столь покорной, столь униженной, наша страна обязана не только самыми прекрасными страницами своей истории, но и своим сохранением. Вот урок, который она была призвана явить миру: великий народ, образовавшийся всецело под влиянием религии Христа, поучительное зрелище, которое мы предъявляем на размыщение серьезных умов».

Такая переоценка православной церкви привела к тому, что Чаадаев стал искать главные причины отсталости России не в византийском влиянии, а в наследии татаро-монгольского ига. Кроме того, философ признал важность киевского периода русской истории и по-новому характеризовал роль Петра I.

«Зрелый» Чаадаев 1840—1859 гг., неизвестный современникам, сближается более, чем кто-либо из философствующих в России, со взглядами Карамзина. «Среди причин, затормозивших наше умственное развитие и наложивших на него особый отпечаток», философ отмечает: «Во-первых, отсутствие тех центров, тех очагов, в которых сосредоточивались бы живые силы страны... а во-вторых, отсутствие тех знамен, вокруг которых могли бы объединяться тесно сплоченные и внушительные массы умов». Для Чаадаева «вся наша история — продукт природы того необъятного края, который достался нам в удел». Созвучны Чаадаеву мысли Карамзина об открытости молодого русского народа, о смирении и чистоте русского православия.

Один из главных выводов «зрелого» Чаадаева заключается в том, что Россия находится «накануне если не разрешения, то, во всяком случае, попытки разрешения» своей социальной задачи, «накануне такого социального эксперимента, о котором никогда еще не решались мечтать самые смелые утописты в дерзновеннейших своих фантазиях». Но не революция «на манер западноевропейских» угрожает России философа. Чаадаев твердо убежден в большом различии исходных точек русской культуры и Западного мира, поэтому и в невозможности одинаковых результатов их развития. Русский народ у Чаадаева обречен на пассивность перед лицом власти в силу понимания самой ее природы: «Несть власти, аще не от Бога».

Как бы мы ни оценивали противоречивые, иногда несправедливые, но всегда глубокие суждения Чаадаева о русской истории, необходимо признать, что он самым решительным образом способствовал пробуждению национальной совести.

Многое ведет к Чаадаеву, многие, даже в своем отрицании, из него исходят. Но Чаадаев одинок и печален, как печальна и одинока его Россия — пустынный остров в безбрежной стихии истории.

